

поддержать собрата ободряющими откликами, и Плетнев внес свою лепту: он напечатал в «Современнике» очень поощрительную рецензию. «В каждой пьесе чувствуем создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовольствием»<sup>6</sup>. К этому времени Плетнев был уже ректором университета. Знал ли он, что адресует похвалы прежнему своему протеже? И знал ли сочинитель «Н. Н.», что он узан прежним своим экзаменатором? Подарил ли молодой поэт экземпляр вышедшей книжки издателю одного из лучших российских журналов? Все это нам неизвестно; известно лишь, что 24 июля 1840 года Некрасов опять подает прошение о допуске к экзаменам в университет — на этот раз на юридический факультет.

Результаты этого второго экзамена любопытны. Все отметки по гуманитарному циклу выше, чем год назад, — и, может быть, в этом следует видеть не только лучшую подготовленность, но и предрасположенность к экзаменуемому — отражение позиции ректора. Уже беглый взгляд на ведомость позволяет говорить о скоординированности оценок. У В. С. Порошина по географии и статистике Некрасов опять получил «1», — но другие преподаватели, напротив (а, может быть, именно поэтому), старались единиц не ставить. Так, И. Я. Соколов по греческому языку выставляет оценку «1½», а К. Сен-Жюльен исправляет «1» на «2»<sup>7</sup>. На этом общем фоне весьма скромных экзаменационных результатов выделяется оценка «5» по российской словесности. Ее поставил Никитенко<sup>8</sup>.

Почти нет сомнений, что этот балл ставился не абитуриенту Некрасову, но литератору «Н. Н.», автору поэтического сборника, отрецензированного Плетневым. История годичной давности, приоткрытая плетневым письмом, повторялась вновь — на более высоком уровне.

Дальнейшее известно. Некрасову не удалось сдать дисциплины математического цикла, и 24 июля 1841 года он оставил университет.

Существует рассказ Н. И. Глушицкого, что одной из причин его ухода была резкая критика или даже «глумление» над его поэтическим творчеством, которое позволил себе Никитенко с университетской кафедры. Здесь нет возможности подробно анализировать этот рассказ, взятый из вторых рук. Мемуары Глушицкого полны вымыслов в фактах и объяснениях и частью были опро-

вергнуты в научной литературе. Но даже если критический отзыв Никитенко о «Мечтах и звуках» и был в действительности, — а исключить этого мы не можем, — не он определял линию поведения критика, когда дело шло не о достоинствах поэзии, но о судьбе поэта.

*Впервые:* Русская речь. 1993. № 5.

<sup>1</sup> Никитенко А. В. Дневник. Л., 1955. Т. 1. С. 209, 212.

<sup>2</sup> ИРЛИ, 18. 641, лл. 17—18 об.

<sup>3</sup> Лит. наследство. Т. 49—50. М., 1946. С. 189.

<sup>4</sup> Там же. С. 358.

<sup>5</sup> Евгеньев-Максимов В. Е. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.; Л., 1947. Т. 1; Рейсер С. А. «Некрасов в Петербургском университете» // Лит. наследство. Т. 49—50. С. 351—364.

<sup>6</sup> Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. II. С. 289.

<sup>7</sup> За это сообщение выражаю искреннюю признательность Б. Л. Бессонову, разыскавшему подлинную ведомость.

<sup>8</sup> Рейсер С. А. Указ. соч. С. 360—361.

## «Великий меланхолик»

### 1. Загадочная запись

В «Путешествии из Москвы в Петербург», этом своеобразном трактате-размышлении, где Пушкин вслед за Радищевым высказывал свои мнения о самых разнообразных сторонах жизни современного ему русского общества, есть одно загадочное место. Оно находится в концовке главы «Москва».

В этой главе Пушкин говорил о социальном быте двух столиц: «старой» и «новой», Москвы и Петербурга; об упадке первой как неминуемом следствии возвышения последнего, — и с другой стороны — о росте и укреплении московского просвещения. «Кстати, — заключал он, — я отыскал в моих бумагах любопытное сравнение между обеими столицами. Оно написано одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости». Далее в белой рукописи следует название: «Москва и Петербург», на котором глава обрывается<sup>1</sup>. Никакого ее продолжения в бумагах Пушкина нет.

Вот уже более ста лет эта запись привлекает к себе внимание. О ней существует целая литература.

Н. С. Тихонравов, редактор собрания сочинений Гоголя, еще в 1880-е годы выдвинул предположение, не потерявшее значения и сейчас. Согласно Тихонравову, под своим приятелем, «великим меланхоликом» Пушкин понимал Гоголя, а под статьей «Москва и Петербург» — первую часть «Петербургских записок» Гоголя, содержащую как раз «сравнение между обеими столицами»<sup>2</sup>.

Гипотеза Тихонравова в течение пятнадцати лет оставалась единственным вероятным объяснением загадочной записи. К ней присоединялись, хотя иной раз с осторожностью, пока в 1913 году известный знаток Гоголя В. В. Каллаш не выступил с печатным возражением. Каллаш указывал, что статья Гоголя была написана после пушкинской, и что существуют и другие противопоставления кандидатуре Гоголя. Пушкин не мог включить в свою статью «большого и очень существенного» отрывка, принадлежащего Гоголю, заявлял Каллаш и предлагал иную кандидатуру, — именно, князя П. А. Вяземского. Близкий друг Вяземского, Пушкин знал, что при всей своей «веселости» князь был склонен к продолжительным приступам «меланхолии» и даже депрессии; шутливое же сравнение столиц находилось в его весьма популярном в свое время бесцензурном стихотворении, так и называвшемся «Сравнение Петербурга с Москвой»:

У вас Нева,  
У нас Москва,  
У вас Княжнин,  
У нас Ильин,  
У вас Хвостов,  
У нас Шатров...

И так далее, вплоть до «воров в звезде» и спящего августейшего кучера на облучке российского государственного экипажа<sup>3</sup>.

Новая гипотеза была оспорена сразу же, в статье Н. О. Лернера «Великий меланхолик». Лернер решительно отводил Вяземского. Он указывал, что стихи его совершенно невозможны для публикации, да и по шутливо-сатирическому содержанию своему вряд ли соответствуют общей тональности пушкинской статьи. При этом Лернер напоминал, что 10 марта 1836 года Петербургский цензурный комитет рассматривал предназначенную для пушкинского «Современника» статью «Москва и Петербург. (Из записок дорожного)» и разрешил

к печати при условии изменения и исключения некоторых мест. Как предполагал Лернер, это и была статья Гоголя, упомянутая Пушкиным (к подлинному цензурному делу он не обращался). Наконец, он привел и цитату из письма Гоголя к Жуковскому от 29 декабря 1847 года — с автохарактеристикой, вполне соответствующей пушкинскому описанию «великого меланхолика»: «Еще бывши в школе, — писал Гоголь, — чувствовал я временами расположение к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками; но это были временные припадки, вообще же я был характера скорей меланхолического и склонного к размышлениям»<sup>4</sup>.

Все эти сопоставления, казалось, окончательно решали вопрос в пользу гипотезы Тихонравова. Статья Лернера (вошедшая затем в его книгу «Рассказы о Пушкинсе», изданную в 1929 году) прекратила дискуссию, — однако лишь на некоторое время.

Она была возобновлена В. В. Гиппиусом в статье «Литературное общение Гоголя с Пушкиным» в 1930 году.

В. В. Гиппиус принадлежал к тому поколению ученых, которые стремились строить свои выводы на изучении рукописного фонда. Творчеством Гоголя он занимался на протяжении всей своей жизни и впоследствии был инициатором и одним из основных участников академического собрания его сочинений; одновременно он был соредактором и академического издания критической прозы Пушкина. Статья 1930 года как бы предвосхищала эту его деятельность: она была первой попыткой пересмотреть «гоголевскую версию» на основании анализа рукописных источников.

Результаты анализа не подтверждали точки зрения Тихонравова — Лернера. «Путешествие из Москвы в Петербург», согласно наблюдениям Гиппиуса, писалось в 1834—1835 годах; гоголевская же статья была начата в 1836 году. Дело цензурного комитета не изменяло общего расчета, даже если оно и касалось статьи Гоголя. Но Гиппиус этим не ограничился.

Он ставит вопрос о восприятии Пушкиным раннего гоголевского творчества.

Сопоставление всех сохранившихся свидетельств приводит его к выводу: «Пушкину слишком ясно было *первостепенное* значение «веселости» в гоголевском творчестве 30-х, чтобы он мог ее счесть случайностью», редкими светлыми минутами меланхолика.

Вопрос вновь оставался открытым. Пушкин мог иметь в виду какое-то неизвестное нам произведение. «Он мог и никакого произведения не иметь в виду, мог брать на себя и роль «великого меланхолика» и — тем самым — задачу написать «веселую» параллель между обеими столицами. Если это так, то пробел в рукописи объясняется тем, что параллель не была написана»<sup>5</sup>.

Работа В. В. Гиппиуса чрезвычайно убедительно отводила «гоголевскую версию». Его выводы были закреплены академическими изданиями Пушкина и Гоголя; последнее решительно присоединялось к его выводу о «великом меланхолике»<sup>6</sup>.

И все же спор не был окончен, а «гоголевская версия» неожиданно получила сильного защитника.

Защитником ее стал Ю. Г. Оксман, один из крупнейших современных пушкинистов, историк общественной мысли, авторитетнейший исследователь русской литературы и журналистики XIX века.

В 1934 году он опубликовал то самое цензурное дело, о котором упоминал еще Лернер. «Москва и Петербург» в самом деле была статья Гоголя; впоследствии она вошла как первая часть в его «Петербургские записки 1836 года». Даты ее в деле не было, и обычно ее датируют по косвенным признакам февралем — началом марта 1836 года; Оксман же высказал предположение, что работа над ней была начата еще в 1835 году.

С этим предположением отпадали хронологические возражения против старой гипотезы Тихонравова.

Ю. Г. Оксман и вернулся к ней — в комментариях к «Путешествию из Петербурга в Москву» в пушкинском десятилетнике 1962 года. Гоголевская статья, утверждалось здесь, «была в распоряжении Пушкина и предназначалась в 1835 г. для включения в „Путешествие из Москвы в Петербург“»<sup>7</sup>.

Ученый не аргументировал своего вывода, — между тем он требовал развернутых доказательств.

Черновой автограф статьи «Москва и Петербург» в гоголевской тетради находится между набросками статьи «О движении журнальной литературы...», предназначенной для пушкинского «Современника», который был разрешен только в январе 1836 года. В тексте этой статьи есть упоминание о 1835 годе как о «прошлом». Если допустить, что первая статья писалась в 1835 году, то нужно передатировать и вторую, что можно сделать лишь ценой искусственных допущений. Но и

в этом случае трудно утверждать, что гоголевская статья предшествовала по времени пушкинской главе «Москва». Однако дело не только в этом.

Дело в том, что хронология вовсе не решает главного вопроса: собирался ли Пушкин продолжить главу «Москва» гоголевской статьей.

Между тем именно так попытался решить его Е. С. Шальман, автор последней по времени работы, специально посвященной «хронологии и литературным отношениям» «Путешествия из Москвы в Петербург». Он не принял передатировки гоголевской статьи, но приложил усилия, чтобы доказать, что работу над главой «Москва» Пушкин продолжал еще в 1836 году. В разборе же литературных отношений он последовал за комментаторами начала века, сослался на письмо Гоголя Жуковскому, приведенное еще Лернером, сопоставил тексты пушкинской «Москвы» и «Москвы и Петербурга» и нашел в них полное единомыслие. По мнению Е. С. Шальмана, Пушкин собирался включить в свою статью гоголевский текст целиком, ибо он «настолько совершенен, что резать его невозможно», — и потому «отныне мы должны давать дорожные записки Гоголя подстрочным приложением к главе «Москва»<sup>8</sup>.

Все это — предельно упрощенное решение вопроса, отмеченное явными чертами любительства.

Даже если мы докажем убедительно, что в момент работы над «Путешествием» в руках Пушкина был гоголевский текст (а строго доказанным это считать никак нельзя), это означает лишь одно: для гипотезы нет хронологических противопоказаний.

Тема «Москва и Петербург» интересовала не только Гоголя. Она интересовала Вяземского, имя которого не случайно пришло на память Каллашу. Она занимала весь пушкинский круг, еще в 1810-е годы. Ее истоки уходили в социальную и политическую мысль XVIII столетия; это была проблема исторических путей России, обозначившихся с началом петровских реформ<sup>9</sup>. Наконец, она ближайшим образом занимала и самого Пушкина, свидетельство чему — «Медный всадник» и самая глава «Москва».

Кому бы ни принадлежала «шутливая параллель между столицами», в пушкинской статье она должна была продолжать мысль Пушкина. Мы увидим далее, в самом ли деле Пушкин и Гоголь здесь «полные едино-

мышленники», как думает новейший исследователь проблемы.

«Великий меланхолик», с редкими минутами «веселости»... Уже Гиппиус показал, что нельзя пользоваться автооценками Гоголя 1847 года для характеристики его в 1835—1836 годах. Письмо Гоголя Жуковскому — концепция собственного творчества, возникшая у позднего Гоголя, а не документальное свидетельство. И дело вовсе не в том, был ли Гоголь в 1835—36 годах действительно «меланхоликом», а в том, был ли он таким в глазах Пушкина.

«Один из моих приятелей...». Отнесенная к реальному, конкретному лицу, эта формула означает дружескую короткость, почти фамильярность. Вряд ли Пушкин мог назвать так Гоголя: в обращении к младшему литературному собрату эпитет приобретал оттенок снисходительности и, может быть, даже легкой иронии. Но главное даже не в этом.

Главное затруднение почувствовал уже Каллаш: как мог Пушкин, не назвав Гоголя по имени, включить в свою статью его текст, присвоив тем самым авторские права и взяв на себя авторскую ответственность? Ссылки на творческую манеру Пушкина, любившего делать выписки из исторических источников, наивны: Гоголь был не историческим источником, а современным литератором, со своей позицией, со своим стилем, отнюдь не всегда приемлемыми для Пушкина.

На протяжении всей первой половины 1836 года Пушкину придется на страницах «Современника» объясняться с публикой по таким поводам. Он будет отвечать на инсинуации Сенковского, чуть не приведшие его к дуэли, и доказывать, что не имел намерения «присвоить себе чужое произведение», объявив себя его издателем. Он будет вынужден полемизировать и с Гоголем, статья которого «О движении журнальной литературы...» грозила осложнить журнальные отношения «Современника», и объявлять, что «мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямотою» не «совершенно сходны» с собственными взглядами издателя. Рецензируя же второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки», он осторожно упрекнет молодого автора за «нервность и неправильность» «слога»<sup>10</sup>.

«Присвоив», хотя бы и с согласия Гоголя, его статью, Пушкин становился ответственным и за ее идеи, и за ее «слог». Ссылка на авторство некоего «приятеля» не

была бы принята всерьез, как никто не верил всерьез в существование Ивана Петровича Белкина, чьи повести издал А. Пушкин.

Но кто же тогда «великий меланхолик»?

## 2. Незамеченная реплика

Существует мемуарное свидетельство, о котором не вспомнил никто из исследователей проблемы, хотя оно давно и хорошо известно. Оно принадлежит Ксенофону Полевому, передавшему свой разговор с Пушкиным в 1828 году. В беседе Полевой коснулся общего тона сочинений Пушкина и заметил, что в них «встречается иногда такая искренняя веселость, какой нет ни в одном из наших поэтов». «Он отвечал, — продолжал Полевой, — что в основании характер его — грустный, меланхолический, и если он бывает иногда в веселом расположении, то редко и ненадолго»<sup>11</sup>.

Полевого поразило это признание, и он возражал, и позднее не соглашался с этим, как ему казалось, парадоксом. В некрологической статье «Александр Сергеевич Пушкин» 1837 года он словно скрыто полемизировал с этой автохарактеристикой. «Отличительным характером его в обществе, — писал он о личности Пушкина, — была задумчивость или какая-то тихая грусть, которую даже трудно выразить <...> Зато в искреннем, небольшом кругу, с людьми по сердцу, не было человека разговорчивее, любезнее, остроумнее. Тут любил он и пошутить, и похихотать, глядел на жизнь только с веселой стороны, и с необыкновенной ловкостью мог открывать смешное»<sup>12</sup>. Итак, он все же принял во внимание пушкинские слова, но построил прямо противоположную концепцию характера: не меланхолик с редкими минутами веселости, а веселый и жизнерадостный человек с приступами меланхолии, обычно посещающей его в большом и незнакомом или малоприятном ему обществе.

К воспоминаниям Кс. Полевого мы можем присоединить свидетельства других мемуаристов. Почти в то же время, 21 марта 1827 года, П. Л. Яковлев пишет А. Е. Измайлову: «Пушкин скучает! Так он мне сам сказал <...> Впрочем, он все тот же, так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению»<sup>13</sup>. Н. М. Смирнов, знав-

ший Пушкина с 1828 года, в своих «Памятных заметках» почти буквально повторял все эти независимые друг от друга свидетельства: «В большом кругу он был довольно молчалив, серьезен, и толстые губы давали ему вид человека надувшегося, сердитого <...> Но в кругу приятелей он был совершенно другой человек <...> он был удивительной живости, разговорчив <...> громко, увлекательно смеялся <...> Когда он был грустен, что часто случалось в последние годы его жизни, ему не сиделось на месте: он отрывисто ходил по комнате, опустив руки в карманы широких панталон, и протяжно напевал: «грустно! тоска!». Но веселый анекдот, остроумное слово развеселяли его мгновенно...»<sup>14</sup>.

Прервем здесь цитацию источников, которую можно легко продолжить. Приведенных выдержек достаточно, чтобы утверждать, что Полевой схватил объективно существовавшую, замеченную и другими современниками черту характера и внешнего поведения Пушкина. Еще более важно, однако, что все цитированные свидетельства содержат указания и на то, как сам Пушкин осознавал свое состояние. Он «скучает» (по его собственным словам) в 1827 году; в последние годы жизни жалуется на «тоску». В 1835 году, приехав в Тригорское, он говорит Осиповым: «Господи! как у вас тут хорошо! А там-то, там-то, в Петербурге, какая тоска зачастую душист меня!»<sup>15</sup>.

П. Х. Граббе, Катенин, Смирнов, Керн, выдавшие Пушкина в 1820—1830-е годы, единодушно говорят о том, что склонность его к меланхолии увеличилась после женитьбы. Уже в 1833 году он жаловался жене на «хандру» и «горе» (письмо от 21 октября 1833 г.). Обстоятельства, хорошо известные по его биографии: материальная неустроенность, осложнившиеся отношения со двором, цензурные притеснения, охлаждение читательской публики, — делали устойчивым мрачное и раздраженное состояние, наложившее печать и на его переписку этих лет. В такой ситуации оценка собственного характера как «меланхоличного» в самой своей основе становилась естественной, даже более естественной, чем в 1828 году.

Все эти свидетельства подтверждают мысль, высказанную В. В. Гиппиусом мельком, в качестве одной из возможных гипотез: Пушкин мог «брать на себя роль великого меланхолика». И здесь мы напомним читателю приведенные им же другие свидетельства, показываю-

щие, что Пушкин не мог отводить эту роль Гоголю.

«Сейчас прочел *Вечера близь Диканьки*. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непридуманная, без жеманства, без чопорности. <...> Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались *Вечера*, то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. *Мольер* и *Фильдинг*, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков».

Это известный отзыв Пушкина на первое издание книги, 1831 года.

«Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина! <...>| Вслед за тем явился Миргород, где с жадностью все прочли и Старосветских помещиков, эту шутовскую, трогательную идиллию, которая заставляет нас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начало достойно Вальтер Скотта. Г. Гоголь идет еще вперед». —

Отзыв на второе издание, 1836 года.

«Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданно, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись». —

Примечание к повести «Нос» в «Современнике» 1836 года<sup>16</sup>.

В 1830-е годы Пушкин не замечал или не находил нужным подчеркивать «меланхолию» Гоголя; он говорил только о гоголевской «веселости», — и сам Гоголь в общении с Пушкиным ставил акцент на этой стороне своего дарования. Он сам рассказал Пушкину о наборщиках, встретивших смехом его появление в типографии (в письме от 21 августа 1831 г.). В октябре 1835 года он сообщает Пушкину, что сюжет «Мертвых душ» «кажется, будет сильно смешон» и просит новый сюжет — для комедии, которая должна быть «смешнее черта». Уже из-за границы он пишет Жуковскому: «Для его (Пушкина — В. В.) журнала я приготовлю кое-что, которое, как кажется мне, будет смешно». Гоголь был убежден, что Пушкин, всегда смеявшийся при его чтениях, был вообще «охотник до смеха». Именно потому он был удивлен реакцией Пушкина на «Мертвые души»: Пушкин «начал понемногу становиться все сумрачней, а на-

конец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!». «Меня это изумило, — вспоминал Гоголь. — Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!»<sup>17</sup>.

Примеры можно было бы умножить, — но и сказанного достаточно, чтобы убедиться в справедливости заключения В. В. Гиппиуса: считать Гоголя «меланхоликом» с периодами просветления Пушкин не мог.

В «Путешествии из Москвы в Петербург» он говорил не о Гоголе, а о себе, наделив своими собственными чертами некоего «приятеля».

### 3. «Приятель»

«Приятель» пушкинской статьи — конечно, литературная фикция.

Прозаики пушкинского круга охотно прибегали к «маскам» рассказчиков. Достаточно указать на Рудого Паньку в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя, Иринея Модестовича Гомозейку у В. Ф. Одоевского или Порфирия Богдановича Байского в целом ряде повестей О. М. Сомова. Последний образ даже получил некое подобие реальной биографии и стал фигурировать в дружеской переписке. Так, в письме к М. А. Максимо-вичу от 29 октября 1829 года Сомов сообщал, что его «земляк» Байский занят альманахом, «который, вероятно, издаст он на родине своей, в Волчанске». В другом письме, от 29 июня 1829 года, он приводит сведения о Байском: ему около восьмидесяти лет, он живет в Волчанске, дописывает «Гайдамака»<sup>18</sup>. Вымышленный образ повествователя колеблется от почти полного слияния с автором его, Орестом Сомовым, до почти полного обособления. К той же категории «масок» принадлежит и Белкин, которого Пушкин в письме к Плетневу около 11 июля 1831 года шуточно называет своим «приятелем»<sup>19</sup>.

Помимо «масок», у Пушкина есть персонажи, наделенные явными автобиографическими чертами. Один из них — рассказчик в отрывке «Участь моя решена. Я женюсь», написанном вскоре после помолвки Пушкина в мае 1830 года. Отрывок настолько наполнен биографическими деталями — вплоть до визита героя к умирающему дяде, — что некоторые биографы поэта склонны

были считать его автобиографическим наброском. Вместе с тем это, конечно, художественное произведение на автобиографическом материале, образец психологической прозы Пушкина, и рассказчик здесь не тождествен автору<sup>20</sup>; подзаголовок «С французского», которым снабжен отрывок, указывает на литературную традицию «микроанализа» душевной жизни. Но еще более интересен для нас «Отрывок» («Несмотря на великие преимущества...») того же 1830 года. Здесь читаем:

«...Один из моих приятелей, известный стихотворец, признавался, что сии притветствия, вопросы, альбомы и мальчишки до такой степени бесили его, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости <...>

Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда находила на него такая дрянь (так называл он вдохновение), то он запирался в своей комнате и писал в постеле с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтоб пообедать в ресторации, выезжал часа на три, возвратившись, опять ложился в постель и писал до петухов».

«Пушкин просыпался рано и писал обыкновенно несколько часов, не вставая с постели», — вспоминал брат поэта Лев<sup>21</sup>.

«Это продолжалось у него, — читаем далее в «Отрывке», — недели 2, 3 — много месяцев, и случалось единожды в год, всегда осенью».

Индивидуальная особенность «ритма жизни и творчества» Пушкина, известная всем, хотя бы поверхностно знакомым с его биографией. Ее отмечал и Лев Пушкин: «Надобно заметить, что Пушкин писал постоянно только осенью».

Почти каждой строке «Отрывка» можно найти подобные же аналогии в биографических свидетельствах о самом Пушкине. Они касаются не только быта и привычек; они обнимают область мировоззрения и мироощущения. «Приятель мой происходил от одного из древнейших дворянских наших родов, чем и тщеславился со всевозможным добродушием. Он столько же дорожил 3<мя> строчками летописца, в коих упомянуто было о предке его, как модный камер-юнкер 3<мя> звездами двоюродного своего дяди».

Отстраненное, тронутое автоиронией изложение собственных пушкинских исторических и социологических

размышлений, нашедших себе место в прозе и публицистических набросках начала тридцатых годов, и даже в стихах и поэмах, вплоть до Езерского:

Могучих предков правнук бедный,  
Люблю встречать их имена  
В двух — трех строках Карамзина  
От этой слабости безвредной,  
Как ни старался — видит Бог, —  
Отвыкнуть я никак не мог.

Последняя строка повторена почти буквально:

Гордясь, как общей пользы друг,  
Ценою собственных заслуг,  
Звездой двоюродного дяди .

«Отрывок» был использован затем Пушкиным в «Египетских ночах» для характеристики Чарского, — и Л. С. Пушкин и С. П. Шевырев были убеждены, что в Чарском Пушкин изобразил самого себя<sup>22</sup>. В позднейшей литературе иногда высказывалось мнение, что «приятель» «Отрывка» тождествен автору — Пушкину, и что самый текст — в точном смысле слова автобиография, а не художественная проза. Это, конечно, не так.

То, что «приятель» «Отрывка» наделен чертами самого Пушкина, выясняется лишь при обращении к биографии и всему литературному наследию поэта; для этого нужно выйти за пределы текста. В тексте же он дан как особый образ, и читателю нет нужды, похож он на своего автора — Пушкина, или не похож.

От имени этого-то «приятеля» автор-повествователь предполагал рассказать некую «повесть», от которой затем отказался. «Сей отрывок составлял, вероятно, предисловие к повести, не написанной или потерянной. Мы не хотели его уничтожить...»<sup>23</sup>.

Этот замысел подводит нас вплотную к «Путешествию из Москвы в Петербург», к записи о «великом меланхолике», «приятеле» автора, предоставившем ему своего сочинения шутливую параллель между Петербургом и Москвою. Оба «приятеля» наделены автобиографическими чертами, в обоих случаях применен один и тот же композиционный ход, вводящий новый рассказ, — «не написанный или потерянный».

Нам предстоит теперь поразмышлять над причинами, по которым «великий меланхолик» не осуществил своего намерения. Но для этого нужно вернуться к Гоголю.

#### 4. «Плагиаты» Гоголя

Тесное творческое общение двух великих писателей начинается в 1831 году.

Это был год бурных журнальных войн Пушкина.

Он вынужден защищаться от памфлетных и даже пасквильных инсинуаций Булгарина и переходить в контратаки. Одной из наиболее сокрушительных была статья «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», напечатанная в тринадцатом (июльском) номере «Телескопа» за 1831 год, за подписью «Феофилакт Косичкин».

Александр Анфимович Орлов был литератором, как говорили тогда, «задней шеренги», писавший полублудные романы, рассчитанные на самые примитивные вкусы. Читательский успех романов Булгарина — в первую очередь «Ивана Выжигина» — пробудил его литературную энергию, и он стал выпускать массами «продолжения» и пародии. «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина»... «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина. Нравственно-сатирический роман»... И так далее, и так далее...

Романы Булгарина, претендовавшие на место в «большой литературе», отражались в кривом зеркале низкопробной словесности. Раздражение «Северной пчелы» было неопишимо.

В глазах же Пушкина и его круга они были порождением того же духа торговли, который произвел на свет и «Хлыновских степняков». И он воспользовался блестящим полемическим ходом, уже зарождавшимся в стане литературных противников Булгарина.

С саркастическим глубокомыслием «Феофилакт Косичкин» разбирал сравнительные достоинства сочинений Булгарина и «своего друга» А. А. Орлова как равноценные величины.

«Фаддей Венед.<иктович> превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений; Александр Анф.<имович> берет преимущество над Фад.<деем> Венедиктовичем живостию и остротою рассказа.

Романы Фаддея Венед.<иктовича> более обдуманы, доказывают большее терпение в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александра Анф.<имовича> более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венед.<иктович> более философ; Александр Анф.<имович> более поэт»...<sup>24</sup>.

Идею иронических параллелей подхватил Гоголь.

В письме от 21 августа он предлагает сравнить Булгарина с Байроном: «та же гордость, та же буря сильных непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта...»

Пародия на эмфатический стиль Николая Полевого.

«...видны и на нашем соотечественнике; то же самозвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона»...

Нарастающее одушевление вдохновенного вранья, предвосхищающего монолог Хлестакова.

«...В самих даже портретах их заметно необыкновенное сходство»...

Гиперболический алогизм. Портрет Байрона — образец почти античной красоты; у Булгарина одутловатое лицо с толстыми губами.

Пушкин отвечал Гоголю: «Проект Вашей ученой критики удивительно хорош. Но Вы слишком ленивы, чтоб привести его в действие. Статья Ф. Косичкина еще не являлась; не знаю, что это значит...»<sup>25</sup>.

Июльская книжка «Телескопа» задержалась. Гоголь писал до выхода статьи из печати, несомненно, зная ее от самого Пушкина. Уже здесь намечается, таким образом, потенциальное использование «пушкинского сюжета».

Эти «передачи сюжетов» учащаются в 1833—1834 годах, когда общение становится систематическим. 7 апреля 1834 года Пушкин записывает в дневнике: «Гоголь по моему совету начал Историю русской критики»<sup>26</sup>. По-видимому, несколько ранее он знакомит Гоголя с С. Д. Шаржинским, чтобы писатель воспользовался его артистическим устным описанием степи для «Тараса Бульбы»<sup>27</sup>. По очень вероятному предположению М. А. Цявловского, зимой того же 1833—1834 года Пушкин и Гоголь беседовали о занимавшем весь Петербург «странном происшествии»: о «танцующих стульях в Конюшенной улице»; разговоры эти отразились в пушкинском дневнике и в повести «Нос»<sup>28</sup>.

В «Носе» есть еще одна сюжетная реминисценция, несомненно, замеченная Пушкиным. Концовка повести — прозаическая парафраза последних строк «Домика в Коломне». Заимствован прием: серия недоуменных во-

просов, обращенных к автору якобы от имени возмущенного читателя, воспитанного на повестях с «моралью»: «И для чего все это? К чему это? <...> Для какой цели? Что доказывает эта повесть?». В «Домике в Коломне»: «Как, разве все тут? шутите!» — «Ей-Богу» <...> Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоученья?»...

Гоголь варьирует полемические выпады Пушкина против нравоописательной литературы, совершенно так же, как он делал это в августовском письме 1831 года. Эта концовка появляется впервые в той редакции повести, которая была предназначена для «Современника»<sup>29</sup>.

«Нос» становится известен Пушкину не ранее марта 1836 года, почти одновременно со статьей «О движении журнальной литературы...».

Эта статья, в создании которой Пушкин принял ближайшее участие, история публикации ее в «Современнике» и полемика, ею вызванная, изучались много и основательно, и здесь не место касаться всех этих вопросов. Нам важно одно: Гоголь включил в свой текст многочисленные парафразы из пушкинских полемических сочинений, частью неизданных, — причем эти парафразы и цитаты во многих случаях носили характер принципиальный. Так, говоря о «Московском наблюдателе», Гоголь почти дословно повторял декларативную статью Пушкина в «Литературной газете» 1830 года «О журнальной критике» («В одном из наших журналов...») — статью, вызвавшую в свое время шквал полемических откликов. Она была напечатана анонимно — и о принадлежности ее Пушкину Гоголь мог узнать только от него самого. «Новый журнал, — писал Гоголь, — нужен был не для публики, т. е. для большого числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых Библиотекою» (то есть «Библиотекой для чтения» О. И. Сенковского)<sup>30</sup>. «Литературная газета, — читаем в статье Пушкина, — была у нас необходима не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могших по разным отношениям являться под своим именем ни в одном из петербургских или московских журналов»<sup>31</sup>. Гоголь настаивал на уважении к культурной традиции, высказывая излюбленную пушкинскую мысль пушкинскими же словами: «история прошедшего для нас не существует»<sup>32</sup>. «Прошедшее для нас не существует», — заявлял в свое время Пушкин в неопубликованном «Романе в письмах»<sup>33</sup> и развивал эту мысль в не-



опубликованных же «Опровержениях на критики» и набросках повестей начала 1830-х годов: «Мы так положительны, что стоим на коленях пред настоящим случаем, успехом и <...> но очарование древн<остью>, благодарность к прошедш<ему> и уважение <к> нравственным дост<оинствам> для нас не существует»<sup>34</sup>.

Гоголь упрекал современную критику, забывающую имена «Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова», «гласно требовавших своего определения и настоящей верной оценки», между тем как о них «ничего не сказали или <...> отделались пошлыми фразами»<sup>35</sup>. Здесь он снова следовал за пушкинской статьей «О журнальной критике»: «Не говоря уже о живых писателях, Ломоносов, Державин, Фонвизин ожидают еще египетского суда. Высокопарные прозвища, безусловные похвалы, пошлые восклицания уже не могут удовлетворить людей здравомыслящих»<sup>36</sup>. Молодой критик сожалел, что не высказывают публично своих литературных мнений «ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский»<sup>37</sup>, которые, быть может, считали для себя зазорным «спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой», — и на этот раз пересказывал довольно близко ненапечатанный пушкинский «Разговор о критике» того же 1830 года, где есть и упоминание о журнальных кулачных бойцах, и желание слышать «мнения Гнедича о ром<антизме> или Кры<лова> об нынешней элегической поэзии»<sup>38</sup>.

Точки соприкосновения обнаруживаются у Гоголя и не раз даже с такими сочинениями Пушкина, которые и не предназначались для печати. В 1832 году Пушкин подавал Бенкендорфу официальную записку о разрешении журнала с политическими новостями и в обоснование приводил общие соображения о путях прогресса в литературе. Он писал о том, что литература «любителей», видевших в своих занятиях «приятное, благородное упражнение», могла существовать еще десять лет назад, когда «читателей было еще мало»; ныне же «литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. *торговое*. Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законами»<sup>39</sup>.

Это были излюбленные мысли Пушкина о профессионализации литературного труда, — и они также нашли себе место в статье Гоголя. «Литература должна

была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась»<sup>40</sup>.

Все эти совпадения, отнюдь не случайные, требуют специального исследования; сейчас же они важны нам как свидетельство широты и тесноты творческих контактов. Гоголь брал от Пушкина многое, и, быть может, больше, чем принято считать. С другой стороны, мы вправе предполагать, что, советуя Гоголю приняться за историю русской критики, Пушкин вместе с тем сообщил ему многие из своих размышлений на этот счет и, вероятно, указал на свои прежние печатные выступления.

Осенью 1835 года происходит известная «передача сюжетов» «Мертвых душ» и «Ревизора». Последний случай был несколько особый. Комедию (или повесть?) о «Криспине» — Свиныне Пушкин намеревался писать сам и даже в 1833—1834 годах набросал ее план. В этой общей связи, кажется, становится понятным свидетельство П. В. Анненкова: «В кругу своих домашних Пушкин говорил, смеясь: „С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя”»<sup>41</sup>. Анненков относил эти слова (переданные ему скорее всего Н. Н. Пушкиной) к «Ревизору» или «Мертвым душам», и исследователи (в том числе и В. В. Гиппиус, которому принадлежит наиболее подробный и точный анализ этой цитаты<sup>42</sup>) доверились ему слишком буквально. Между тем, «добродушная ирония» Пушкина могла иметь в виду все случаи «обирания»: от разработки прямо предложенных тем и варьирования уже известных в печати текстов до использования устных рассказов, которые Пушкин берегал для себя. Заметим, впрочем, что этическая сторона дела здесь гораздо более сложна, чем кажется на первый взгляд, и столь же сложна сторона психологическая. Легкая досада Пушкина, звучащая в словах, переданных Анненковым, конечно, совершенно понятна; однако В. В. Гиппиус был прав: серьезных претензий к Гоголю у Пушкина не было, да, вероятно, и быть не могло. Поэт иногда сообщал о своих замыслах, однако подробно рассказывал о них лишь тогда, когда они переставали его интересовать. Так было и с «Влюбленным бесом» — сюжетом, переданным В. П. Титову, и, по-видимому, с поэмой об Агасфере. Не случайно ни одна из известных нам пушкинских устных новелл не была реализована в его собственном творчестве. Между тем, о похождениях Свинына

(«Криспина») в Бессарабии Пушкин начал рассказывать широко и задолго до знакомства с Гоголем; уже упомянутый нами Кс. Полевой был свидетелем одного из таких рассказов Пушкина в присутствии самого Свинына; вообще сюжет о мнимом ревизоре не без основания признан «бродячим»<sup>43</sup>. Все это заставляет предполагать, что Пушкин не слишком дорожил замыслом о «Криспине».

Здесь мы вновь подходим к гоголевскому замыслу статьи с шуточным сравнением Москвы и Петербурга.

По самому своему характеру она не могла содержать прямых реминисценций из Пушкина. Но она писалась одновременно со статьей о движении журнальной литературы, когда Гоголь находился в пределах интеллектуального поля, созданного Пушкиным. Самая параллель между двумя столицами, как мы уже говорили, постоянно возникала в пушкинском кругу на протяжении двух десятилетий; сравнение же «журнализма» «московского» и «петербургского» уходило своими истоками в середину двадцатых годов, когда образовался «Московский вестник», противостоящий «Северной пчеле».

Гоголь не изобрел тему, а унаследовал ее.

Отсюда спорадически возникающая общность частных тем.

Пушкин пишет: «Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смысленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский».

Московская критика с честью отличается от петербургской. Шевырев, Киреевский, Погодин и другие написали несколько опытов, достойных стать наряду с лучшими статьями английских Reviews, между тем как петербургские журналы судят о литературе как о музыке; о музыке как о политической экономии, т. е. наобум и как-нибудь, иногда впадет и остроумно, но большую частью неосновательно и поверхностно.

Философия немецкая, которая нашла в Москве, быть может, слишком много молодых последователей, кажется, начинает уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было благотворно: оно спасло нашу молодежь от холодного скептицизма французской философии и удалило ее от упорных и вредных мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший

цвет предшествовавшего поколения»<sup>44</sup>. Эти слова непосредственно предшествовали фразе о «великом меланхолике», авторе статьи «Москва и Петербург».

В «Петербурге и Москве» Гоголь также говорит о московских и петербургских журналах.

«В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепутаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживаются, в Петербурге наживаются»<sup>45</sup>.

Эти цитаты привел Е. С. Шальман в цитированной нами статье как пример «полного единомыслия», позволяющего механически соединить пушкинский и гоголевский тексты<sup>46</sup>.

Между тем, трудно найти два других текста, которые до такой степени противоречили бы друг другу и даже отменяли друг друга.

Гоголь шутит — забавно и неосторожно — как раз над тем, что стремится утвердить Пушкин.

«Всегда оканчиваются картинкою мод...». Картинки новых французских мод печатал «Московский телеграф», и противники Полевого видели в этом эмблему «торгового направления». Итак, адепты «Канта и Шеллинга» отнюдь не чужды коммерческих интересов.

«Опаздывают книжками... проживаются...». Книжки «Московского наблюдателя» запаздывали катастрофически; дохода журнал не приносил. Пушкин прекрасно это знал, раздражался, но в «Путешествии...» его интересовала другая сторона дела.

Гоголь, связанный с редакцией «Московского наблюдателя» узами, быть может, более тесными, чем Пушкин, но имевший к ней и больше претензий<sup>47</sup>, походя опрокидывает оптимистический прогноз поэта: «московский журнализм» не «убьет» петербургский потому, что он не умеет вести свои дела. Он должен подумать о собственном выживании.

Если допустить, что Пушкин собирался включить в главу «Москва» гоголевский фрагмент, он становился ответственным за все эти противоречия. Он лишился

права на объяснение, которым вскоре отделит свою позицию от позиции Гоголя: мнения автора статьи «О движении журнальной литературы...» не во всем сходны с мнениями издателя «Современника».

Ни Пушкин, ни Гоголь не предполагали писать совместно главу «Москва». Пушкин хотел сам написать «шутливую параллель», но Гоголь сделал это раньше, — быть может, воспользовавшись пушкинским «сюжетом», как уже бывало неоднократно.

Пушкинский замысел терял теперь для автора прелесть новизны.

## 5. Версия барона Розена

В это самое время, в 1836 году, когда контакты Пушкина и Гоголя становятся особенно тесными, в разговорах Пушкина вдруг вновь всплывает тема «великого меланхолика».

Мы знаем об этом из мемуарно-критической статьи барона Егора Федоровича Розена «Ссылка на мертвых» (1847).

Барон Розен, поэт, драматург и критик, написавший либретто «Жизни за царя» и с легкой руки Глинки получивший репутацию почти что графомана, был фигурой далеко не ординарной. До девятнадцати лет он не знал русского языка и изучил его самостоятельно; в начале тридцатых годов он уже довольно известное лицо в литературном мире. Пушкин присматривался к его лирическим стихам и в особенности трагедиям, считая, что он имеет более драматического таланта, нежели Хомяков и Кукольник; критические же его суждения Пушкин ценил: Розен был чрезвычайно начитан и прекрасно знал античность и новую европейскую, в особенности немецкую словесность. В его критических суждениях парадоксально сочетались догматическая узорность и тонкая проницательность; и то, и другое мы находим в его мемуарах.

В 1836 году Розен сотрудничал в «Современнике» и хорошо знал Пушкина и Гоголя. Их литературные отношения интересовали Розена как не вполне понятный ему парадоксальный феномен, который он старался себе объяснить. Он преклонялся перед безошибочностью эстетического вкуса Пушкина, который непостижимым для него образом принимал то, что в Гоголе казалось

ему «низким» и «грязным», — например, «отвратительную» «бессмыслицу» «Носа». По размышлении он пришел к выводу, который и сообщил Пушкину. «Он был характера весьма серьезного и склонен, как Байрон, к мрачной душевной грусти, — писал Розен, вспоминая свое «объяснение», данное Пушкину. — Чтобы умерять, уравновешивать эту грусть, он чувствовал потребность смеха; ему ненадобно было причины, нужна была только придирка к смеху! В ярком смехе его почти всегда мне слышалось нечто насильственное, и будто бы ему самому при этом невесело на душе. Неожиданное, необычное, фантастически-уродливое, физически-отвратительное, не в натуре, а в рассказе, всего скорее возбуждало в нем этот смех». Этой-то «патологической чертой» пытался объяснить Розен любовь Пушкина к «фарсам» Гоголя: «...он всегда желал иметь около себя человека милого, умного, с решительной склонностью к фантастическому: „Скажешь ему: пожалуйста, соври что-нибудь! И он тот час соврет, чего никак не придумаешь, не вообразишь!“».

Розен не сообщил, как реагировал Пушкин на такое психологическое объяснение, но дал понять, что поэт его не отверг. «Я вполне убежден, я знаю наверное, что Пушкин насчет «Ревизора» и того отвратительного «Носа» и тому подобных произведений Гоголя мистифицировал публику и своих друзей, да и самого себя желал бы обмануть, если б это было возможно при чистоте его вкуса, при неподкупности его критического чувства, — и вот почему я должен полагать, что Пушкин этот откровенный о Гоголе разговор со мною оставил в секрете»<sup>48</sup>.

Факт беседы с Пушкиным, конечно, не вымыслен. Добросовестность Розена как мемуариста подтверждается везде, где она доступна проверке, но его оценки и суждения почти всегда неточны или неверны: ни по своей биографии, ни по эстетическим воззрениям Розен не был человеком пушкинского круга. Как это нередко с ним случалось, он попал в резонанс собственных размышлений Пушкина, уже написавшего строки о «великом меланхолике» с редкими «минутами веселости». Пушкинскую заинтересованность его рассуждением он принял за безусловное согласие.

Когда происходил этот разговор? По воспоминаниям Розена, вскоре после выхода из печати третьего тома «Современника», где был помещен «Нос» с пушкинским

примечанием, — иными словами, после 30 сентября 1836 года, когда Гоголя уже давно не было в Петербурге. Вместе с тем, присматриваясь внимательно к мемуарам Розена, нельзя не заметить, что автор их не столько стремится к хронологически-последовательному изложению своих встреч и бесед, сколько передает их общий смысл и направление. «Ссылка на мертвых» — не воспоминания в точном смысле слова, а полемическая статья, где личные впечатления служат материалом и аргументом. Живые сценки бытового или литературного общения возникают «к слову»; они стягиваются к узловым, проблемным местам статьи, хотя бы реально были отделены друг от друга каким-то временным промежутком. «Патологическую черту» в характере Пушкина — сочетание «меланхолии» и «всеселости» — Розен заметил, конечно, задолго до разговора осенью 1836 года; размышлять же о ней начал в связи с «Ревизором», после первых чтений комедии, происходивших в середине января.

Его характерологическая схема в основе своей сложилась уже тогда по наблюдениям над другими слушателями гоголевской комедии, в том числе, по-видимому, над Вяземским и Жуковским: «почтенные люди», по его словам, «всегда занятые серьезным делом службы и своих высших интересов», «не требуют истинно комической причины для смеха; была бы только некоторая к нему придирка»<sup>49</sup>. Он разговаривает о «Ревизоре» с Жуковским и Пушкиным и, вероятно, касается этой темы. К сожалению, содержание этих бесед нам неизвестно; но мы вправе предположить, что сходство его описания пушкинского характера с пушкинским самовосприятием возникло не само по себе, а отчасти и из этого общения, и что пушкинская автохарактеристика — «великий меланхолик» с «светлыми минутами веселости» — не осталась достоянием только его черновиков, а так или иначе проникла в беседы узкого кружка его ближайших сотрудников. Тогда она могла стать известной и Гоголю, еще до отъезда его из Петербурга 6 июня 1836 года.

## 6. Перелом

Гоголь уезжал из Петербурга, потрясенный враждебным приемом «Ревизора» в реакционных театрально-общественных кругах. Полемика о новой комедии захвати-

ла журналы обеих столиц, обнажила социальные и эстетические противоречия и положила начало последующим спорам о существовании гоголевского таланта. Нет необходимости подробно пересказывать ее многократно проследженную историю: нас интересует в ней лишь один аспект.

Московские сторонники Гоголя в письмах и печатных отзывах подчеркивали серьезную и даже трагическую сторону гоголевского смеха. Критик «Молвы», скрывшийся за псевдонимом «А. Б. В.» (возможно, Н. И. Надеждин), утверждал, что «Ревизор» смешон, «так сказать, снаружи, но внутри это горе-гореваньице, лыком подпоясано, мочалами испутано»<sup>50</sup>. Это восприятие было очень близко к тому, которое утвердилось в семействе Аксаковых. К. С. Аксаков, ссылаясь на свое личное знакомство с Гоголем, писал в 1836 году М. Г. Карташевской, что смех Гоголя сочетается с грустью и «на сердце у него тяжело». «Те тупы, которые только видят в его сочинениях смешное», — продолжал он эту мысль тремя годами позднее. То же пишет и С. Т. Аксаков, прослушав в 1840 году главу из «Мертвых душ»: «нисколько не смешно, а грустно». Все это идет не столько от личного общения, сколько от эстетической концепции, и полемически направлено прежде всего против консервативной журналистики — Булгарина, Сенковского, Полевого. Однако С. Т. Аксаков упрекал в недооценке гоголевского таланта и Жуковского, и даже Пушкина: они «восхищались его юмором, комизмом — и только»<sup>51</sup>.

У Аксакова были известные основания для такого суждения. Пушкинский круг, как и Пушкин, выдвигал на передний план именно гоголевский смех, видя в нем эстетическую и общественную самоценность. Вяземский писал Л. И. Тургеневу, впервые прослушав «Ревизора»: «у нас он (Гоголь, — В. В.) тем замечательнее, что, за исключением Фонвизина, никто из наших авторов не имел истинной веселости. Он от избытка веселости часто завирается, и вот чем веселость его прилипчива»<sup>52</sup>. Розен довольно хорошо уловил то отношение, которое встретил «Ревизор» в пушкинском кругу. В рецензии Вяземского в «Современнике» учительное начало «Ревизора» было приглушено; критик защищал Гоголя как комика, утверждая серьезное значение самого комического жанра, лишеного дидактических начал.

Есть основания думать, что и сам Гоголь в эти годы был близок к такому пониманию своего творчества. Об

этом говорит хотя бы полемическая концовка «Носа», написанная специально для пушкинского «Современника»; в самом замысле и построении «Ревизора» сказывается близкое эстетическое задание<sup>53</sup>. 12 ноября 1836 года, жалуюсь Жуковскому на овладевшую им «ипохондрию», он замечает: «Меня не веселили мои «Мертвые души», я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжить их». Обратим внимание на эту попутно брошенную фразу: «Мертвые души» пишутся в веселом расположении духа. Еще через три года он жалуется Шевыреву на невозможность работать в уединении. «Все свои ныне печатные грехи я писал в Петербурге, именно тогда, когда я был занят должностью, когда мне было некогда, среди этой живости и перемены занятий, и чем я веселее провел канун, тем вдохновенней возвращался домой, тем свежее у меня было утро» (письмо от 10 сентября 1839 г.)<sup>54</sup>. Пройдет всего несколько лет, и Гоголь будет раскрывать психологию своего раннего творчества совершенно иначе, а иногда и прямо противоположным образом.

Весной 1841 года Гоголя встретил в Риме П. В. Анненков. Описание этой встречи (после полуторагодового перерыва) он включил в свои известные воспоминания. «Это был тот же самый, чудный, веселый, добродушный Гоголь, которого мы знали в Петербурге до 1836 года, до первого отъезда за границу <...>. Правда, некоторые черты, как увидим, уже показывали начало нового и последнего его развития, но они еще мелькали на поверхности его характера, не сообщая ему одной, господствующей краски. 1841 год был последним годом его свежей, мощной, многосторонней молодости...»<sup>55</sup>.

Наблюдения Анненкова важны для нас по многим причинам, и прежде всего по своему восприятию гоголевской личности. Оно сходно с тем, какое установилось в пушкинском кругу. Подобно Вяземскому и Пушкину, Анненков не видел в «меланхолии» или «грусти» органической черты характера писателя; более того, он решительно разделял «раннего» и «позднего» Гоголя.

В декабре 1838 года в Рим приезжал Жуковский, сопровождавший наследника. Встреча его с Гоголем была «трогательна». Искренняя радость звучит в январских письмах Гоголя к А. С. Данилевскому и В. Н. Репниной. «Первое имя, произнесенное нами, было — Пушкин»<sup>56</sup>. Они проводят время в беседах и длительных прогулках по Риму — до первой декады февраля 1839

года, когда наследник со свитой двинулся далее. В этот месяц у Гоголя была еще одна встреча с прежним петербургским знакомым его и Пушкина — с уже упомянутым нами Розеном, который также находился в свите наследника. Розен описал эту встречу как время «сердечной приветливости» к нему Гоголя, и, можно думать, описал довольно точно. «Он встретил меня с отменным радушием; тотчас ввел между нами дружеское ты (чего дотоле не было); осведомлялся с большим участием о том, что я написал в его отсутствие, и так далее; еще больше оживлялся моими уклонениями от этой материи, точно будто бы получил в наследствие от Пушкина особенное благоволение ко мне как литератору — одним словом, был чрезвычайно мил и любезен»<sup>57</sup>. Последнее замечание любопытно; быть может, оно — отзвук каких-то разговоров о Пушкине. Розен не передает их содержания, но намекает, что в сознании Гоголя уже укрепилась идея избранничества. В этой или иной связи, но о Пушкине между ними должна была зайти речь; Розен часто общался с Пушкиным после отъезда Гоголя, был на похоронах и читал в Петербурге свои стихи, посвященные памяти поэта. После Жуковского это был, вероятно, второй человек, который мог сообщить Гоголю о подробностях разыгравшейся трагедии. Он был резко настроен против антипушкинской партии, в том числе и придворной<sup>58</sup>.

Как и Анненков, Розен отмечал у Гоголя состояние подъема душевных сил. Он не замечал в нем перемены, и, вероятно, Анненков имел основания относить лишь к 1842 году явственно обозначившийся перелом гоголевского мироощущения. Именно с этого года, года выхода «Мертвых душ», стало возможным осмыслять Гоголя как «великого меланхолика».

Знаменитая формула «видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы»<sup>59</sup>, возникающая как полемически заостренный эстетический лозунг, давала первые стимулы к такому осмыслению. Она принимала явственную характерологическую окраску и из области эстетики переносилась в психологию. Ту же судьбу имела и другая близкая к ней формула: «кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете»<sup>60</sup>. Это — концовка «Театрального разезда...» причем не первой, а второй его редакции, появившейся в 1842 году. Сочувственная Гоголю критика начинала теперь отправляться от этих формул. Так сделал Белин-

ский, иронизировавший над «умными людьми», видевыми в Гоголе «большого остряка и шутника» и «веселого человека». Но Белинский сумел удержаться на уровне общественно-эстетических проблем; ему важно было подчеркнуть и выделить социально-значимое начало в гоголевской сатире. Он делал оговорки, что пишет о «Мертвых душах», а не персонально о Николае Васильевиче Гоголе. «Не считая себя вправе говорить печатно о личности живого писателя, мы скажем только, что не в шутку назвал Гоголь свой роман «поэмою» и что не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга»<sup>61</sup>.

Белинский утверждал «трагическое значение комического произведения г. Гоголя»<sup>62</sup>. С диаметрально противоположных позиций, но к той же мысли подошел Шевырев: «...тот недалеко слышит и видит, кто в ярком смехе Гоголя не замечает глубоко затаенной грусти <...> Смех принадлежит в Гоголе художнику <...> но грусть принадлежит в нем человеку»<sup>63</sup>.

Концепция творчества и концепция личности идут рядом, то обособляясь, то сливаясь воедино. Это происходит как раз тогда, когда признаки творческой и духовной трагедии Гоголя обозначаются явственно, и в нем усиливается склонность к ретроспективной переоценке своего жизненного и писательского пути; когда пишется «Развязка Ревизора» (1846) и идет работа над вторым томом «Мертвых душ»; когда кризисные настроения окрашивают письма писателя, и в его творческом сознании уже зреют «Выбранные места из переписки с друзьями». Идея великой миссии овладевает им полностью; с ней приходит идея самоотречения, резиньжации и волевого переустройства своего духовного существа. Наставляя А. С. Данилевского, Гоголь пишет ему 13 апреля 1844 года очень симптоматичное письмо, где автобиографическое признание возникает как пример насильственного самовоспитания: «Даже истинной веселости духа не приобретешь до тех пор, пока не заставишь себя быть веселым. Веселость я почувствовал только тогда, когда печали и томительные душевные расположения заставили меня устремиться к этой веселости»<sup>64</sup>. Эту мысль он варьирует тогда же в письмах к матери и сестрам<sup>65</sup>.

В письме к Данилевскому содержится зерно нового самовосприятия. Оно не распространено еще на характер в целом, но потенции такого распространения есть.

Гоголь осуществит его тогда, когда для него станет особенно важной идея органического и закономерного развития собственной личности. Он начинает говорить об этом уже в 1844 году, отвечая С. Т. Аксакову, которого тревожили «мистические» нотки его писем<sup>66</sup>. Но лишь с выходом «Выбранных мест» и началом печатной и эпистолярной полемики идея эта делается лейтмотивом переписки Гоголя. «Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду» (письмо к С. Т. Аксакову от 20 января (н. ст.) 1847 г.); «Не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности...» (А. С. и У. Г. Данилевским от 18 марта (н. ст.) 1847 г.); «...я отнюдь не переменял направления моего. Труд у меня все один и тот же, все те же «Мертвые души»» (В. В. Львову от 20 марта (н. ст.) 1847 г.<sup>67</sup>). Во всех приведенных отрывках речь идет столько же о писателе, сколько о личности в широком смысле слова; это ощущается даже сильнее, чем в 1842—1843 годах. Теперь уже и Вяземский, когда-то настаивавший на самоценности гоголевского комизма, переставляет акценты: «веселость» автора «Выбранных мест», пишет он, никогда не была «беспечной», и «часто в насмешливости его отзывается горечь и глубокая скорбь»<sup>68</sup>. Именно об этом Гоголь собирался писать в «Авторской исповеди»: «...развивал ли я точно самого себя из данных мне материалов или хитрил и хотел переломить свое направление...» (письмо к П. А. Плетневу от 10 июня (н. ст.) 1847 г.)<sup>69</sup>. Теперь концептуальное самоосмысление становится неизбежным — оно влекло за собою преднамеренное или непреднамеренное ретроспективное построение своей личности в ранние годы. Теперь Гоголь должен отрицать или во всяком случае ограничивать «веселость» своего характера и своих ранних произведений.

Здесь перед ним снова возникает фигура Пушкина.

## 7. Письмо к Жуковскому

Еще до выхода из печати «Выбранных мест» Гоголь предупреждал Плетнева, что он намерен читать «почти все», что будет выходить по поводу его книги. Это «почти все» в дальнейшем превращается во все без исключе-

ний: «жду с нетерпением всех печатных критик». Он обращается с этой просьбой к Плетневу, Шевыреву, А. Россету; он хочет знать, что напечатано «во второстепенных журналах, как-то: «Иллюстрации», «Литературных прибавлениях» и не было ли чего в «Инвалиде»<sup>70</sup>. Просьбу эту он повторяет едва ли не в каждом письме на протяжении 1847 года. Критические отзывы он изучает внимательно; многие из них отразились затем в «Авторской исповеди»<sup>71</sup>.

Первое упоминание об этой «книжечке» с «повестью» его «писательства» находится в письме к Плетневу от 10 июня (н. ст.) 1847 года; последнее — в письме к Шевыреву от 28 августа (н. ст.), где Гоголь сообщал, что пока решился «дело это оставить»<sup>72</sup>. Время окончания работы над «Авторской исповедью» неопределенно; считается, что она окончена в том же 1847 году. Для нас, однако, существенно одно обстоятельство — в ней перефразирован фрагмент из письма Шевыреву от 2 декабря (н. ст.) 1847 года: «Если и эта книга («Выбранные места», — В. В.), которая не более как рассуждение, говорят, неопределенностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли <...> что же было, если бы я выступил с живыми образами повествовательного сочинения наместо этих писем? Я сам слышу, что тут гораздо сильнее, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд ли был в силах меня кто опровергнуть»<sup>73</sup>. В письме последняя фраза конкретизирована: «Там можно было разбить меня в пух и Павлову, и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться»<sup>74</sup>. По контексту письма очевидно, что оно написано ранее: этим фрагментом Гоголь отвечал на требование Шевырева ускорить работу над вторым томом «Мертвых душ».

Итак, к моменту написания «Авторской исповеди» в руках Гоголя был уже июньский номер «Сына отечества», где появилась статья Розена «Ссылка на мертвых», с разбором «Выбранных мест...» и оценкой литературных взаимоотношений Гоголя и Пушкина.

Гоголь считал, что полемическая статья Розена «разбила его в пух», хотя сказал это не без некоторой иронии. В статье Розена наряду с мелочными привязками, самовозвеличением и не идущими к делу отступлениями действительно содержались моменты, которые могли

привлечь внимание Гоголя. Как и сам Гоголь, Розен считал его книгу плодом «переходного состояния» писателя, выделял в ней письма о церкви и — в отличие от некоторых других полемистов — не набрасывал тени на личный характер Гоголя. Некоторые фразеологические соприкосновения статьи с «Авторской исповедью», быть может, не случайны<sup>75</sup>. Как бы то ни было, статья Розена в той или иной мере была Гоголем учтена.

Это существенно, потому что именно в статье Розена, как мы имели случай заметить, есть характерологическое сравнение Гоголя и Пушкина. Пушкин — человек, склонный к «мрачной душевной грусти», Гоголь — милый, умный весельчак, безудержной фантазией развлекаящий своего литературного патрона.

Согласиться с таким объяснением для Гоголя 1847 года было бы немыслимо. Не забудем, что он всецело во власти идеи о целостности своей личности, органичности своей духовной эволюции; он ищет в своем прошлом следов той «меланхолии», а точнее, «серьезного», «учительного» и даже пророческого умонастроения, которое владеет им теперь. Внутренняя, быть может, подсознательная полемика с Розеном ощущается в строках его «исповеди». «На меня находили припадки тоски, — пишет Гоголь, — мне самому необъяснимой, которая происходила может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать»<sup>76</sup>.

Мы прямо подошли к письму Гоголя Жуковскому от 29 декабря 1847 (10 января 1848) года, — тому самому письму, которое цитировалось в начале этого этюда, и которое является одним из краеугольных камней гипотезы о Гоголе — «великом меланхолике».

Это письмо не могло бы быть написано в середине тридцатых годов. Оно вобрало в себя настроения и идеи, овладевшие писателем десятилетием позже, — и эти идеи и настроения отлились в мифологизирующую концепцию собственной личности. Искусство, примиряющее с жизнью, — вот что должно было владеть Гоголем с юношеских лет, — а, стало быть, и владело. «Все совершалось как бы независимо от моего собственного (свободного) произволения. Никогда, например, я не думал, что мне придется быть сатирическим писателем и смешить моих читателей»<sup>77</sup>.

Пассаж об исконной меланхоличности своего харак-

тера, с редкими, «временными» «припадками» веселости следует непосредственно после этих строк.

«Болезнь» и «хандра», продолжал Гоголь, стали причиной комизма в его первых произведениях: «чтобы развлекать самого себя», он «выдумывал без дальнейшей цели и плана героев, становил их в смешные положения», — и вот происхождение его повестей!

В 1844 году Гоголь учил Данилевского насильственно преодолевать тоску «веселостью». Эта идея вступила в новую фазу.

Но ведь это была как раз та психологическая подоплека литературных отношений Пушкина и Гоголя, которую устанавливал барон Розен в отлично известной Гоголю статье «Ссылка на мертвых». Пушкин, испытывавший, подобно Байрону, приступы мрачной душевной грусти, держит при себе умного, доброго, даровитого весельчака, дающего волю безудержным порывам владеющей им комической стихии. В письме Гоголя воспроизведен именно этот остроумный и парадоксальный психологический рисунок, — с тою разницей, что и «весельчак», и «ипохондрик» соединились теперь в одном лице — в лице Гоголя.

Было ли случайностью это совпадение? Думается, что нет. Образ Пушкина, неотступно преследовавший Гоголя с того самого момента, как автор «Мертвых душ» получил известие о его смерти; образ, ставший для Гоголя почти символическим выражением национального гения, завещавшего ему, Гоголю, труд, ставший делом его жизни, — теперь вставал перед ним живой со страниц статьи Розена, воскрешавшей картину их общения в последние петербургские месяцы, накануне трагической гибели поэта. Ощущение преемничества было в Гоголе очень сильно; нужно ли удивляться тому, что он мог даже произвольно построить свою личность по образцу личности Пушкина, если к этому вел весь долгий и мучительный путь его духовных, интеллектуальных и эстетических поисков.

*Впервые:* Временник Пушкинской комиссии. 1974. Л., 1977. Для наст. изд. переработано и дополнено.

<sup>1</sup> Пушкин. Т. 11. С. 248.

<sup>2</sup> См.: Гоголь Н. В. Сочинения. 10-е изд. М.; СПб., 1889. Т. 5. С. 655—656.

<sup>3</sup> Каллаш В. В. Пушкин и Гоголь//Заметки о Гоголе//Голос минувшего. 1913. № 19. С. 235 и след.

- <sup>4</sup> Лернер Н. Великий меланхолик: Пушкин и гоголевская стихия//Речь. 1913. № 302 (2614). 4 нояб. С. 4; Его же: Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 174—179. Письмо Гоголя см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. [М], 1952. Т. 14. С. 34. Далее ссылки на это издание: Гоголь, том, страница.
- <sup>5</sup> Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным//Ученые записки Пермского гос. унив-та. Вып. 2/отд. оттиск. Пермь, 1930. С. 88—89.
- <sup>6</sup> Гоголь. Т. 8. С. 769.
- <sup>7</sup> Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1962. Т. 6. С. 573. Ср.: Литературный Ленинград. 1934. № 15. 31 марта. С. 3.
- <sup>8</sup> Шальман Е. С. «Путешествие из Москвы в Петербург» Пушкина: Хронология и литературные отношения//Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1979. Т. 38. № 3. С. 193.
- <sup>9</sup> См. об этом: Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 30-х годов//Пушкин. Исследов. и материалы. Л., 1969. Т. VI. С. 160—168.
- <sup>10</sup> Пушкин. Т. 12. С. 26, 27, 98.
- <sup>11</sup> Николай Полевой: Материалы к истории русской литературы и журналистики тридцатых годов XIX века. Л., [1934]. С. 278.
- <sup>12</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 65.
- <sup>13</sup> Сборник памяти Л. Н. Майкова. СПб., 1902. С. 249.
- <sup>14</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 243.
- <sup>15</sup> Там же. Т. 1. С. 424.
- <sup>16</sup> Пушкин. Т. 11. С. 216; Т. 12. С. 27, 183.
- <sup>17</sup> Гоголь. Т. 10. С. 203, 375; Т. 11. С. 50; Т. 8. С. 294.
- <sup>18</sup> Русский архив. 1908. Кн. III. С. 257—259.
- <sup>19</sup> Пушкин. Т. 14. С. 189.
- <sup>20</sup> См. об этом подробнее: Левкович Я. Л. Автобиографическая проза и письма Пушкина. Л., 1988. С. 49 и след. (Здесь же — анализ «Отрывка» («Несмотря на великие преимущества...»)).
- <sup>21</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 64.
- <sup>22</sup> Там же. Т. 1. С. 65; Т. 2. С. 387.
- <sup>23</sup> Пушкин. Т. 8 (1). С. 410—411.
- <sup>24</sup> Там же. Т. 11. С. 206—207.
- <sup>25</sup> Там же. Т. 14. С. 211—212, 215.
- <sup>26</sup> Там же. Т. 12. С. 324.
- <sup>27</sup> Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартенева в 1851—1860 гг. [М.], 1925. С. 45, 117.
- <sup>28</sup> Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962. С. 257—258.
- <sup>29</sup> Гоголь. Т. 3. С. 400. Ср.: Благой Д. Д. Литература и действительность. М., 1959. С. 417—418.
- <sup>30</sup> Гоголь. Т. 8. С. 166.
- <sup>31</sup> Пушкин. Т. 11. С. 89.
- <sup>32</sup> Гоголь. Т. 8. С. 174.
- <sup>33</sup> Пушкин. Т. 8. (1). С. 153.
- <sup>34</sup> Там же. С. 142. Ср.: Пушкин. Т. 11. С. 162.
- <sup>35</sup> Гоголь. Т. 8. С. 174, 172.
- <sup>36</sup> Пушкин. Т. 11. С. 89.
- <sup>37</sup> Гоголь. Т. 8. С. 175.



- <sup>38</sup> Пушкин. Т. 11. С. 90.  
<sup>39</sup> Пушкин. Т. 15. С. 205.  
<sup>40</sup> Гоголь. Т. 8. С. 168.  
<sup>41</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. [М], 1960. С. 71.  
<sup>42</sup> Гиппиус В. В. Литературное общение Гоголя с Пушкиным. С. 92 и след.  
<sup>43</sup> Свод литературы по этому вопросу см.: Гоголь. Т. 4. С. 525 (комментарии В. В. Гиппиуса и В. Л. Комаровича); более поздняя литература учтена в книге: Войтоловская Э. Л. Комедия Гоголя «Ревизор»: Комментарий. Л., 1971. С. 14 и след.  
<sup>44</sup> Пушкин. Т. 11. С. 248.  
<sup>45</sup> Гоголь. Т. 8. С. 178.  
<sup>46</sup> Шальман Е. С. Указ. соч. С. 191.  
<sup>47</sup> См. об этом: Мордовченко Н. И. Гоголь и журналистика 1835—1836 гг. // Гоголь. Материалы и исследования. [Т.] 2. М.; Л., 1936. С. 106—150.  
<sup>48</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 286—287.  
<sup>49</sup> Там же. С. 284.  
<sup>50</sup> Молва. 1836. № 9. Ср.: Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 474.  
<sup>51</sup> Лит. наследство. Т. 58. М., 1952. С. 550, 570, 588; Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1956. С. 177.  
<sup>52</sup> Остафьевский архив. Т. III. СПб., 1899. С. 285.  
<sup>53</sup> См.: Гиппиус В. В. Проблематика и композиция «Ревизора» // Гоголь. Материалы и исследования. [Т.] 2. С. 183 и след.  
<sup>54</sup> Гоголь. Т. 11. С. 74, 248.  
<sup>55</sup> Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 63—64.  
<sup>56</sup> Гоголь. Т. 11. С. 192, 195.  
<sup>57</sup> Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 30.  
<sup>58</sup> См.: Лернер Н. Рассказы о Пушкине. Л., 1929. С. 199—203.  
<sup>59</sup> Гоголь. Т. 6. С. 255.  
<sup>60</sup> Гоголь. Т. 5. С. 171.  
<sup>61</sup> Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 6. С. 220.  
<sup>62</sup> Там же. Т. 7. С. 90.  
<sup>63</sup> Москвитянин. 1842. № 8. С. 348.  
<sup>64</sup> Гоголь. Т. 12. С. 290.  
<sup>65</sup> Там же. С. 312, 321, 325.  
<sup>66</sup> Там же. С. 301.  
<sup>67</sup> Там же. Т. 13. С. 186, 261, 264. Ср. также: С. 292, 306, 374.  
<sup>68</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2. С. 315.  
<sup>69</sup> Гоголь. Т. 13. С. 320. Ср. также: С. 334.  
<sup>70</sup> Там же. С. 160, 293, 314.  
<sup>71</sup> См. Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. М., 1897. Т. 4. С. 676—679.  
<sup>72</sup> Гоголь. Т. 13. С. 320, 372.  
<sup>73</sup> Там же. Т. 8. С. 457—458.  
<sup>74</sup> Там же. Т. 13. С. 398.

- <sup>75</sup> Не исключена возможность, что наряду с некоторыми другими отзывами (см. Шенрок В. И. Материалы для биографии Гоголя. Т. 4. С. 676) Гоголь имел в виду и статью Розена, когда резюмировал мнения своих оппонентов: «Книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами» (Гоголь. Т. 8. С. 433). Розен писал так: «...человек добрый, любезный, талантливый, во всех отношениях достойный внимания и любви, но в котором по необыкновенному сцеплению внешних обстоятельств засела постоянная идея собственной невообразимой гениальности» (Сын отечества. 1847. № 6. Отд. III. С. 35).  
<sup>76</sup> Гоголь. Т. 8. С. 438—439.  
<sup>77</sup> Там же. Т. 14. С. 34.

